

DOI: 10.31860/0131-6095-2025-2-170-181

© В. А. Котельников

БЕЛЛЕТРИСТИКА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА В ЕЕ ТЕМАТИЧЕСКОМ И СТИЛЕВОМ ДВИЖЕНИИ

По прошествии 134 лет после смерти К. Н. Леонтьева (1831–1891) становится очевидным, что повышенное внимание (ныне все более возрастающее) у читателей и исследователей вызывают прежде всего его историософские и политические идеи, его эстетические теории — отодвигая в теневую область истории литературы его художественное творчество. Между тем оно составляет одно из замечательных явлений в словесности XIX века.

Первые шаги Леонтьева на этом поприще относятся еще к началу 1851 года, когда он, живя в Москве, написал несколько глав романа «Булавинский завод», комедию «Женитьба по любви». Позднее, весной, автор показал их И. С. Тургеневу, получил одобрение, несколько советов и обещание помочь с публикацией. Названные вещи в печати не появились — пьесу запретила цензура, роман остался без продолжения; тексты их утрачены. Но, уверенный в успехе, Леонтьев не прекращает писать, и вскоре выходят в свет повести «Благодарность» (1854), «Лето на хуторе» (1855), очерки «Ночь на пчельнике» (1857), «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» (1858), комедия «Грудные дни» (1858), повесть «Второй брак» (1860), критические статьи «Письмо провинциала к г. Тургеневу» (1860) и «По поводу рассказов Марка Вовчка» (1861).

Почти все опубликованное в 1850-е годы еще не могло выделить Леонтьева из множества беллетристов тех лет. Оно позволяло видеть в нем даровитого, но средней руки литератора, следующего реалистическому направлению с его интересом к «типам», к социальной среде, с его приверженностью к эмпирической «правде жизни». Такова у него нравоописательная повесть «Благодарность», достоинство которой Тургенев увидел именно в том, что «одно лицо — Цветков <...> заслуживает название типа»,¹ в социально-типических чертах даны фигуры немца-учителя Ангста, чиновника Васильева, его дочери Даши, молодого помещика Крутоярова. Таков народно-бытовой очерк «Ночь на пчельнике». Принадлежит к этому ряду и повесть «Лето на хуторе» — история любви «маленького человека», бедного, не совсем здорового от книжных занятий провинциального учителя Василькова к крестьянке Маше. В повести и персонажи, и обстановка действия получают мягкое освещение в подробном до излишеств изложении. Повествовательная манера автора здесь близка по тону и некоторым приемам к манере Д. В. Григоровича, в чьем романе «Проселочные дороги» (1852), кстати сказать, фигурирует «восторженный», «добрый и чувствительный» герой с той же фамилией Васильков; возможно, именно там его заметил и привез на свой хутор Леонтьев. Кроме того, он несмелым еще голосом непосредственно откликнулся (единственный раз в своем творчестве) на гоголевское слово — смягченно воспроизвел несколько черт Ноздрева в образе и обстановке помещика Непреклонного в эпизоде приезда к нему в дом малодушного Василькова; здесь действовала также и гоголевская антропониимическая модель: Утешительный в «Игроках» — Непреклонный у Леонтьева.

Можно говорить о других стиливых образцах и параллелях относительно творчества Леонтьева первого десятилетия — их нетрудно найти в повестях В. А. Соллогуба «Сережа», «История двух калаш», «Аптекарьша», отчасти в «Детстве» Л. Н. Толстого, в «Поврежденном» А. И. Герцена, в рассказе И. С. Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» и в его повести «Затишье».

Не преминул Леонтьев при входе в большую литературу прямо заявить солидарность с принципами «гоголевско-тургеневской» школы — явно в расчете быть принятым в клуб уже популярных писателей и занять среди них достойное положение, что

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 2. С. 194.

на том этапе он ставил жизненной целью. В очерке «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» он, как автор-повествователь, пускается в полемику с теми предшественниками, которые ориентировались на возвышенное в жизни и на художественную идеализацию в искусстве; он сталкивает их устаревший для школы вкус с нынешним «недоверчивым вкусом», предъявляющим прежде всего моральные требования к герою. И говоря о главном персонаже Муратове, он считал нужным заметить, что это «человек честный». Общее всей школе недоверие к «высокому и прекрасному» побуждало Леонтьева эстетически снижать изображение: рисуя «милую жену» Муратова, он считает своим долгом «чертой осязательного недостатка <...> по возможности кратко низвести личность ее с высоты эмблематической добродетели до простого оживления».² В повести «Второй брак», признавая как принципы торжествующего реализма краткость, простоту и правдивость, он находит повод пустить ироническую стрелу в тех, «кто любит одно величавое» (1, 265), и затем, словно в пику таким любителям, рисует нарочито «невеличавую» картину постепенного развития взаимных чувств Бобруйской и Герсфельда, обстоятельно описывает их родных, московских знакомых и пр. Но наряду с принятой тогда прозаизацией всех любовных перипетий в отношениях героев, наряду с соблюдением реалистического «типизма» в изображении характеров, общества и быта, Леонтьев тонко касается поэтических струн в натуре главного персонажа, показывая его страстную увлеченность музыкой и оперой, причем сам Леонтьев обнаруживает глубокое понимание психологии творчества.

Герсфельд, конечно, введен как известный тип — *русский немец*; Леонтьев питал к ним большую симпатию, которая сказалась затем в его отношениях с К. К. Зедергольмом, с И. И. Фуделем, он ценил в них твердую умственную и волевою постановку личности. Но в повести герой является не законченным в себе типом — его внутренний мир дан в становлении, и Бобруйская говорит, что «ей нравится именно неготовое в нем» (1, 302). Леонтьев не позволял ему остановиться ни на чем готовом ни в идеях, ни в самоопределении, ни в морали. Когда Герсфельду показалось, что все достоинства Бобруйской сводятся к неизменной ее доброте, он восстал против успокоения в такой добродетели, предпочитая сложный драматизм характера, жизни вообще: «Не хочу я знать этой доброты, без страдания, без ошибок, эту нравственность детских повестей и комедий вроде *Berquin!*» (1, 304). Это первый шаг Леонтьева к этике и антропологии жизни-драмы — в их свете он будет смотреть на себя, в этом свете предстанут его персонажи. Впоследствии автобиографический Ладнев в «Египетском голубе» объявит: «...я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным» (5, 299). Писатель видел красивый драматизм воплощенным в радовавших его житейских сценах, в которых открыто встречаются противоборствующие силы.

Повествовательная техника «Второго брака» в части ведения характеров, продвижения сюжета в рассказе и в диалогах вполне отвечала нормам художественного и очеркового реализма пятидесятых годов. Леонтьев сохранял повсюду ровный тон изложения (без экспрессивных модуляций, хотя подчас с оттенками иронии в авторской речи) и рационально выдержанный взгляд на человека.

Однако в совокупности написанное им тогда выглядит скорее как вступительный взнос молодого писателя в предпринятое старшими литературное дело, нежели как намерение продолжать его далее. Леонтьев будто медлил и колебался, главный выбор он еще не сделал, а потому и читатели, и критики не спешили связывать с ним надежды на значительный вклад в современную словесность.

Не отрицая важность моральных вопросов в жизни и в литературе, он начинает замечать некую преувеличенность и даже принудительность их постановки, так что,

² Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Гл. ред. В. А. Котельников; подг. текста, комм. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб., 2000. Т. 1. С. 232. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы.

говорит он не без насмешливого сожаления, «даже самые независимые» в своих мнениях люди задаются теперь прежде всего этими вопросами, считая их важнейшими в суждении о человеке. В отдалении просматривалась уже и другая мысль: для подлинно независимого ума общепринятый моральный критерий вполне может оказаться не единственным и далеко не главным. За чем последуют такие идейные сдвиги в мирозерцании Леонтьева, которые с демократическим гуманизмом «гоголевско-тургеневской» школы будут совершенно несовместимы.

Он оставляет за собой «право справляться с законами прекрасного» (1, 234), хотя сейчас занят, казалось бы, исключительно подробностями повседневной жизни. Увлеченный, как и многие реалисты той поры, придирчивым нравственным и психологическим разбором всех состояний, поступков, отношений действующих лиц, он все же придает иногда такому анализу утонченность, местами изысканность (во «Втором браке»), пытаясь, вопреки установкам школы, облагородить героя, наделить его фигуру изящными чертами и несколько приподнять над обыденностью. Врожденный инстинкт красоты, неистребимый в Леонтьеве, развитый художественный вкус давали о себе знать и на этом этапе творчества и влекли его к предпочтению эстетического критерия в оценке явлений жизни и явлений искусства. Нужно заметить также, что в упомянутых статьях эстетическая мысль Леонтьева, обгоняя его собственную художественную практику, смело и далеко уходит вперед. Оттуда ему уже видно, что «в „Накануне“ *бессознательно* принесено в жертву *сознательному*» (9, 7), т. е. что Тургенев пожертвовал для решения общественно-моральной задачи поэтическим идеализмом, наполнявшим его лучшие вещи. Глядя оттуда, Леонтьев понимает, что «красота — та же истина, только не ясная, не голая, а скрытая в глубине явления. И чем явление сложнее, тем красота его полнее, глубже, непостижимее» (9, 26).

На этом этапе стало устанавливаться двойственное отношение Леонтьева к творчеству Гоголя, в чем проступает не только особая леонтьевская позиция в литературе, но и двойственность самого феномена Гоголя: высокая художественная ценность *в его собственных пределах* — и провоцирование негативистских тенденций и рудеризации стиля в последующей литературе. Леонтьев оказался чуток к тому и другому.

Вполне естественно было ему обратиться к той жизни, картины которой были исполнены для него красоты со времени детства в Кудинове и в смоленском имении дяди В. П. Карабанова. Подобная красота в 1858–1859 годах воочию предстала ему в имении баронессы М. Ф. Розен Спасское, где продолжалась работа над романом «Подлипки» (1861), оказавшимся уже в стороне от «гоголевско-тургеневской» школы, свидетельствуя о недолгой связи с ней Леонтьева. Роман знаменовал возникновение иного — *ретробиографического*³ направления в его творчестве, начало которому положил написанный в 1853 или в 1854 году отрывок «Зимнее утро в помещицкой опустелой усадьбе», ставший позже первой главой «Подлипок»; продолжится это направление в романе «Египетский голубь». Однако все содержание этих произведений не может быть идентифицировано с автобиографическим материалом.

Вернувшись в старое имение Подлипки, с его «уютной зеленой и мирной красотой»⁴ (1, 348), Владимир Ладнев погружается в прошлое: «Куда ни обернусь я, везде дышит передо мной предание» (1, 354); все напоминает ему «прежнее многолюдство» (1, 355) в доме тетушки Марьи Николаевны Солнцевой, рядом с которой постепенно

³ Используемый в современной психологии (наиболее продуктивно Г. В. Акоповым) термин «ретробиографическое сознание» описывает соответствующее свойство субъекта литературного творчества. Созданный таким субъектом текст может быть ретробиографией, ряд подобных текстов образует жанровую группу. «Подлипки», а позже и «Египетский голубь» — это ретробиографии, осложненные углубленной рефлексией повествователя. Такова жанровая природа и писавшейся в то же время трилогии Л. Н. Толстого (печатались в 1852–1857 годах).

⁴ Ладнев, рассказывая об умиротворяюще покойном существовании в Подлипках, сближается, до совпадений, с идиллическими картинами существования в Обломовке: «В Подлипках, казалось мне, никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте!» (1, 415). «Сон Обломова» был опубликован в 1849 году.

являются и родственно близкие герою, и житейски связанные с ним лица: брат Николай, дядя Петр Николаевич, Ковалевы, Модест, Катюша, Ржевские, любимая им Паша. Память воскрешает эпизоды детства и юности, Ладнев оживляет дорогие ему черты тех, кто окружал его тогда, подробно рассказывает, что думал, что чувствовал, судит свои поступки, — и все складывается в сложную, предметно, событийно и психологически богатую картину, внутри которой заключена красота и правда былой, невозвратимой для Ладнева и Леонтьева жизни. Она как будто подергивается дымкой, уходит постепенно вдаль от автора «записок» Ладнева. С ноты «томящей тоски» о прошлом, с вида занесенного снегом поместья начинается роман (1, 347). Но на смену недвижному молчанию настоящего вновь приходит подвижное и звучащее живыми голосами прошлое, которое не отпускает последнего обитателя вымирающих Подлипок (так в действительности вымирало и родовое леонтьевское Кудиново).

Почти неприметно выходит Леонтьев из «усадебной» стилистики 1850–1860-х годов и уводит к рубежу веков, к будущей поэзии тонкого истлевания жизни и культуры. Тут уже слышны интонации «Суходола», «Антоновских яблок». И если Марья Николаевна как тип русской барыни отчасти похожа на тургеневскую Марфу Тимофеевну Пестову («Дворянское гнездо»), то в печальном свете ладневских воспоминаний ее образ почти сливается с тетушкой Ларисой из бунинского «Наследства», с бабушкой в доме «на Плющихе».

«Подлипки» имеют своими истоками то, чем дорожил Пушкин:

Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины;⁵ —

роман вырос на той же почве, что и аксаковские хроники, тургеневские повести и романы, толстовская трилогия. В них, конечно, многое может напомнить другие дворянские гнезда; у Володи Ладнева найдется фамильное сходство с Сережей Багровым, Владимиром из «Первой любви», с Николенькой Иртеньевым. Но нельзя сказать, что Леонтьев повторяет С. Т. Аксакова, Тургенева или Толстого. Генетически общая здесь — поэзия родовой жизни, поэзия дворянского быта, общие склад ума и строй чувств, а подробности и оттенки художественно отличны и вполне своеобразны у Леонтьева. Считать его «романистом-хрестоматиком», «литературным архивариусом»,⁶ соединяющим у себя то, чем замечательны другие писатели, мог только Салтыков-Щедрин по своей тогдашней, как он сам выражался, «ехидной преданмерности»⁷ в критических оценках. Ни подражателем, ни компилятором Леонтьев не был. Более, чем известными литературными красотами у других, он дорожил красотой родного ему мира, он слишком интимно переживал ее, слишком любил собственные семейные предания, чтобы, воссоздавая их, присваивать чужие. Один из немногих понявший «идею» «Подлипок» и находивший ее «прекрасною и вполне поэтической», С. С. Дудышкин одобрил роман (хотя и не без замечаний), о чем сообщал Леонтьеву Тургенев 21 сентября (3 октября) 1860 года.⁸

С переходом от юности к молодости жизнь Ладнева описывается и переживается повествователем все более драматично — в его отношениях с миром и в его самосознании. Обостряется коллизия природных влечений и нравственного чувства; в поисках исхода у героя возникает мысль о монашестве — первое проговаривание у Леонтьева того, что с 1871 года станет сильным мотивом его собственной жизни. В почти болезненных иногда приступах самообличения повествующий о себе Ладнев не только осуждает себя, но и отчуждает свое «я», разрывая общность «поэтического, воздушно-го Владимира Ладнева» (1, 568) с этим «нравственным уродом» (1, 448); в других же

⁵ Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 57.

⁶ Салтыков-Щедрин М. Е. В своем краю. Роман в двух частях. К. Н. Леонтьева. С.-Петербург. 1864 // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1966. Т. 5. С. 454–455.

⁷ Там же. С. 458.

⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 4. С. 243.

случаях он готов обнять своего «милого Володю» (1, 567). В конечных эпизодах романа вырисовываются как бы два Ладнева: оба наделены жадной полной, с избытком, жизни, оба рефлексивуют и конфликтуют между собой (1, 566–568). Подобное состояние было свойственно личности самого Леонтьева.

Сравнительно с прежними вещами, «Подлипки» гораздо богаче эмоциональными красками, приемами повествования, иногда неожиданными. Вводится, например, новый для русской прозы психологический ресурс — связанной с некоей вещью уточненной чувственно-ассоциативной памяти, которая в ходе записывания становится второй жизнью героя. Этот прием предвосхищает поэтику европейского модернизма, в частности рефлексивно-ассоциативные сюжеты М. Пруста в цикле «В поисках утраченного времени». ⁹ Есть у Леонтьева весьма смелые для того времени импрессионистические образы — когда, например, герой уподобляет себя лиловому цветку (1, 559, 561). П. Манфреди проводит хронологически еще далее линию, связующую «Подлипки» с позднейшим искусством: «*È assente, nel romanzo, qualsiasi continuità cronologica e il continuo ricorso ai flash-back lo rendono un precursore della letteratura e del cinema contemporanei*». ¹⁰ А. К. Закржевский не без оснований называл Леонтьева «человеком Запада» и соотносил его мировоззрение и творчество с взглядами и творчеством современных ему Ж.-К. Гюисманса, Л. Блуа, Ж.-Ф.-Э. Леметра, находил в его романах «флорберовский стиль». ¹¹

«В своем краю», писанный почти с натуры в имении М. Ф. Розен, был начат в 1858 году, закончен, вероятно, в 1863-м и опубликован в 1864-м. Он явился художественным телом, в котором произошло оплодотворение и вынашивание этико-эстетической мысли Леонтьева. Суть романа он определял так: «...мысль его была сложная; прежде всего то, что *главное* в жизни — это *прекрасное* и, как важный элемент его, *зло, борьба, страдания, но высокие*» (6-2, 8). Вместе с тем автору «хотелось представить и поэзию хорошей помещичьей жизни в России» (6-2, 8), что превосходно удалось.

Но среди этой жизни, с теплым реализмом изображенной Леонтьевым-романистом, концепции Леонтьева-мыслителя развивает его протагонист Милькеев, доводящий до крайней точки идеи писателя. Он дерзко объявляет превосходящую все прочее ценность прекрасного, вопреки расценкам рутинного гуманизма: «Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей» (2, 46). И потому только прекрасное — цель жизни и «главный аршин» всего, а нравственность — лишь «одна из полос его». Верховную меру прекрасного он провозглашает в эмблематической триаде: «Алкивиад, алмаз, тигр» (2, 23), ¹² — в которой связаны великолепие и сила, блеск и твердость, благородство и зло. Не парадокс, а глубокая этикаема высказана Милькеевым по поручению Леонтьева: «Что бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велико. <...> Да зло на просторе родит добро!» (2, 45–46). Несомненно, что, двигаясь по пути таких идей, Леонтьев должен оказаться не вдалеке

⁹ Ср., например, эпизод с найденным Ладневым у изгороди сада цветком, похожим на *belles de nuit* (1, 363), с эпизодом «*devant les aubépines*» у ограды парка в романе Пруста (*Proust M. A la recherche du temps perdu: Du côté de chez Swann: Combray. Paris, 1954. T. I. P. 138–139*). О возможном сближении с Прустом, но только в связи с символом куста черемухи у Леонтьева, писал Вяч. Вс. Иванов в статье «Повести Константина Леонтьева о православных на юго-востоке Европы и борьба с европейским неогуманизмом» (*Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры: В 3 т. М., 2000. Т. 2. Статьи о русской литературе. С. 111*).

¹⁰ Пер.: «Отсутствующая в романе хронологическая непрерывность и постоянное обращение к *flash-back* (прерывающая ход действия ретроспекция. — В. К.) делают его предшественником современной литературы и кино» (*Manfredi P. Cultura, estetica e religiosità in Konstantin Leont'ev // Konstantin Leont'ev. I nostri nuovi Cristiani. Discorsi contro Dostoevskij e Tolstoj / A cura di A. Ferrari. Milano, 2003. P. 104; перевод наш. — В. К.*).

¹¹ *Закржевский А. К. Одинокий мыслитель. Киев, 1916. С. 7, 9, 14–15, 32.*

¹² Эти образчики иммеральной красоты в природе и в человечестве оказались в одном ряду, возможно, под влиянием трагедии У. Шекспира «Тимон Афинский» (1605), где Алкивиад — один из главных персонажей (не вполне соответствующий тому его образу, который обычно фигурирует у Леонтьева), а алмаз (бриллиант) и тигр неоднократно упоминаются в различных контекстах.

от эстетизированного имморализма Ницше и Ж.-М. Гюйо,¹³ европейских представителей эстетизма.

Кроме несомненных литературных достоинств, «В своем краю» заключает в себе эмбриологию идей автора, которые позже вносятся им в иную социокультурную среду, опробуются в своих интеллектуальных и политических эффектах. Провозглашаемое Милькеевым требование свободы зла ради достижения блага найдет отклик в мыслях и делах Александра Астрапидеса («Аспазия Ламприди», 1871). Образно означенное в упомянутой триаде станет в эстетике Леонтьева своего рода канонами антропологического, минералогического и зоологического совершенства и получит теоретическое развитие и применение к явлениям жизни и искусства. В блестящем афинском полководце и государственном деятеле V века до н. э. аристократе Алкивиаде Леонтьев видел эстетически высший тип человека. И в позднейшей истории он выделял аристократические и героические типы. Самому Леонтьеву национально и сословно близким, генетически родственным был тип русского аристократа, барина, чьи характерные черты также образовали у него устойчивый эстетико-антропологический канон. Таким предстал ему при первой встрече Тургенев — и Тургенев жизни в его глазах оказался лучше Тургенева литературы: «Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих *героев*» (6-1, 37). Леонтьев тогда прочувствовал и осознал то, что стало одним из постулатов его эстетики: в человеке красиво героическое — его деяния, создающие крупную событийность жизни, творящие историю, красива сама телесно выраженная способность к героике, способность свободно, полно проявить свою волю, силу, страсть. В большей мере, чем морально-общественное значение героического (показанное Т. Карлейлем¹⁴), Леонтьев утверждал его эстетическое значение. В русской жизни он находил такие типы — Потемкин, князь А. Н. Цертелев, которому он посвятил очерк (6-1, 388–397), встреченный под Керчью «черноморский полковник», чьи «черты были неправильны; но весь вид, приемы и, видимо, привычки были гораздо более барские и даже франтовские до смелости» (6-1, 692). Указывал он подобные типы и на Западе: О. фон Бисмарк, колоритнейшая героическая личность наполеоновского маршала И. Мюрата. Героические люди могут быть опасны, как опасен для обывателя «ужасный герой» греческий разбойник Сотири (6-1, 410), но без них, настаивает Леонтьев, тускнеет и угасает «эстетика жизни». Человек героический поднимает витальный тонус существования, создает красивую форму личности, увлекает людей, а отражаясь в литературе, повышает ее эстетический и персонологический уровень, о чем будет говорить Леонтьев-критик. С его точки зрения, высказанной в письме И. И. Фуделю от 6 июля 1888 года, «в Цезаре и Скобелеве — в 1000 раз больше поэзии» (12-2, 111), чем во множестве полезных обществу «честных тружеников». И Леонтьев тяготеет к таким типам в своей беллетристике, их можно узнать в образах графа Новосильцева («В своем краю»), генерала Матвеева («Две избранницы», 1885).

Противоположен им «средний тип» — он выработан новоевропейской цивилизацией для осуществления трудового и морального прогресса, но он не способен лично творить великие религиозные, социальные, культурные ценности. А для Леонтьева он прежде всего *некрасив*: «...всегда и везде именно этот средний тип менее эстетичен, менее выразителен, менее интензивно (т. е. высоко) и экстензивно (т. е. широко) прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне крайние» (8-1, 217). В массе «средних» лиц, жестов, поступков, слов, одежд стираются все резкие черты и краски, форма человека предстает блеклой и плоской, все становится «серее». Воплощением таких свойств Леонтьев счел современного «среднего европейца», в котором видел продукт западного эгалитаризма и эвдемонизма, продукт тоталитарной буржуазности, о чем он писал в одной из главных историсофских работ «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (датируется 1872, 1884–1885).

¹³ См.: *Guyau J.-M.* 1) *Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction*. Paris, 1885; 2) *L'art au point de vue sociologique*. Paris, 1889.

¹⁴ См.: *Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории // *Карлейль Т.* Теперь и прежде. М., 1994. С. 6–199 (пер. В. И. Яковенко).

Взгляд Леонтьева близок к взгляду А. И. Герцена, который был уверен, что основная коллизия эпохи в конечном счете — столкновение двух сил: *личного героического идеализма* в сфере мысли и борьбы за свободу и *буржуазного эгоизма* в сфере социальной и политической прагматики. Его европейский опыт убеждал, что процессы деперсонализации на Западе фатальны. В цикле «Конец и начала» (1862) он подводил итоги: «Личности стирались, родовой типизм сглаживал все резко индивидуальное, *бесполойное*, эксцентрическое. Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе».¹⁵

Милькеев в романе резко индивидуален и героичен — он, мыслитель-радикал, от важно уходит в области крайних идей и опасных жизненных решений, следуя им, отправляется в Италию к гарибальдийцам, потом в Петербурге включается в революционное движение. Исходное умонастроение свое этот человек с «тысячами новых ресурсов <...> в уме» (2, 247) определяет так: «Скучно, вот что со мной... Душно, скучно... Тоска такая, что сил нет... <...> Я уеду!» (2, 248). Леонтьев дал здесь новую версию русского скитальца, наиболее полный в своих идейных и эмоциональных мотивах его образ; о ранних скитальцах заговорит Достоевский в своей «Пушкинской речи» в 1880 году.

В феврале 1863 года Леонтьев поступил на дипломатическую службу, как сам он потом пояснял, «гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению» (6-1, 399). Он был назначен секретарем консульства на Крите, потом в Адрианополе, вице-консулом в Тульче, консулом в Янине и в Салониках.

Литературный путь на Восток начался для него с Крыма, память о котором спустя десять лет после участия его в Крымской войне ожила свежими красками и образами в повести «Исповедь мужа» («Ай-Бурун»), написанной в 1864 году в Константинополе и опубликованной в 1867-м. Здесь пейзажное письмо Леонтьева на редкость богато, подробно и точно в изображении растительности, гор, моря, в чем сказались впечатления недельных поездок на Южный берег в октябре 1856-го и июне 1857 года и его зоркая наблюдательность натуралиста-художника. В дневниковом рассказе природа обнимает и смягчает драму, завершение которой оказывается трагическим. Погруженный в свое печальное одиночество молодой герой, решив спасти от грядущих бед дочь умирающей двоюродной сестры Лизу, женится на ней, но мужем становится лишь формально, оставаясь ее заботливым другом.

Воображение Леонтьева было увлечено древним мотивом эротической *θυγατροφίλια*, которую он инъецировал персонажу, но прикрыл этот мотив моральным мотивом жертвы, мужскими чувствами и решимостью быть счастливым своим самоотречением ради счастья Лизы. В повествовании прикрытие оказалось полупрозрачным, и оно не раз ставилось героем под сомнение. Интимную коллизию любви-жертвы Леонтьев, сохранивший интерес к экспериментам над живыми существами со времени учебы на медицинском факультете, осложняет лабораторно-литературным опытом: муж должен дать девушке возможность испытать первую страсть не с ним, а с равным ей по возрасту и темпераменту юношей.

Он хочет, чтобы ее молодость не угасла бесплодно, поощряет ее любовь к греку Маврогени — а сам переживает двойственное состояние: он рад их близости, ее счастьем, как может быть рад отец за дочь, и мучится ревностью как любящий Лизу мужчина. Так развил Леонтьев давно занимавший его сюжет о психологическом совмещении роли отца и мужа по отношению к юной женщине. Он прошел намеком еще в повести «Благодарность», и позднее в романе «Одиссей Полихрониадес» откликом на него стали услышанные героем во сне слова Зельхи: «Одиссей мой, ты для меня все на свете. И брат, и повелитель, и муж, и отец» (4, 400). В предельном виде это был сюжет интимной связи взрослого мужчины с молодой кровно близкой девушкой, что имело у Леонтьева автобиографическую фактичность.

На дипломатической службе Леонтьев оказался таким же эстетом, художником, что и в своих произведениях. Главный сюжет его деятельности — «борьба за русскую идею» на Востоке, и он с наслаждением поэта и расчетом романиста разрабатывает

¹⁵ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 16. С. 184.

его, задумывает и ведет интригу, движет персонажами, окружает действие обстановкой в восточном вкусе. Он овладевает техникой словесных поединков — реальных и литературных — и блестяще пользуется ею как на поле дипломатического соперничества, где всякая реплика — выпад, защита или ложный ход, в разговоре с товарищами по службе, где за остроумием, речевой игрой кроется война интересов и самолюбий, — так и в диалогах и сценах романов «Одиссей Полихрониадес», «Египетский голубь», в первом из которых действует консул Благов, во втором консульский чиновник Ладнев, оба alter ego автора. На службе он дорожил тем, чем дорожит художник в творчестве: в ней «было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла <...> Столько простора самоуправству и вдохновению» (5, 248). Дерзким самоуправством отличился Леонтьев в отношении к дипломатическому противнику: когда французский консул Дерше оскорбительно высказался при нем о России, Леонтьев ударил его хлыстом. Начальство, неофициально поддерживая Леонтьева в такой защите национальной чести, вынуждено было отозвать его с поста на Крите; после пребывания в Константинополе его назначили с повышением в Адрианополь.

Дипломатические сюжеты разворачивались на фоне темы Востока, надолго ставшей излюбленной темой в жизни и беллетристике Леонтьева. Понимая Восток достаточно широко — как европейские территории Турции, населенные греками, славянами, албанцами, мусульманами и христианами, — писатель видел в нем место, «где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет» (6-1, 143), и консул Благов в «Одиссее Полихрониадесе» говорит: «Зачем мне театр? Здесь на Востоке сама жизнь театр» (4, 717). Это обширная сцена, на которой выступают этнические яркие, еще не обесцвеченные эгалитарной цивилизацией общины; здесь происходит встреча христианства и ислама во всем их местном своеобразии, здесь рождаются сильные героические личности. На такой почве, предполагал Леонтьев, жизнь, если бы она вобрала в себя и староевропейские традиции (любимый им романтизм), могла бы достичь «единства в многообразии» и переживать свою высшую фазу — «цветущую сложность», как она определялась им в теории «триединого процесса» культурно-исторического развития.

Восток возбудил в нем энергию творчества и дал обильный материал для него. В течение десятилетия одно за другим являлись «Очерки Крита» (1867), очерки «С Дуная» (1867–1868), «Хризос» (1868), «Пембе» (1870), «Аспазия Ламприди» (1871), «Капитан Илия» (1875), «Дитя души» (1876), еще ряд рассказов и повестей, а также роман «Одиссей Полихрониадес» (1875–1878),¹⁶ что составило три тома отдельного издания под общим заглавием «Из жизни христиан в Турции» (1876); завершается цикл повестью «Сфакиот» (1877) и окончанием «Одиссея...» «Камень Сизифа» (1878). Позднейшим добавлением стал «восточный рассказ» «Ядес» (1885).

Леонтьев глубоко вошел в дух и стиль этой жизни и избежал свойственной прежнему литературному ориентализму¹⁷ декоративности *couleur locale*. Изображаемая Леонтьевым жизнь не экзотична — какой она представляется европоцентристскому взгляду, — а натурально самобытна, органична на своей почве. Она отражается в строе речи персонажей, которые обычно ведут рассказ, — речи конкретной в предметности и чувствах, простой в описаниях и рассуждениях, когда прост рассказчик (как в «Капитане Илия» и др.), — и речи более сложной и экспрессивной, хотя также тяготеющей к лаконизму, когда, например, большую «греческую повесть» излагает сам автор в «Аспазии Ламприди» или эпически повествует о своих «встречах и приключениях» (4, 7) загорский грек Одиссей Полихрониадес.¹⁸ Задачей повести «Паликар Костаки»

¹⁶ О. Л. Фетисенко верно усматривает в нем своего рода новый греко-византийский эпос, сюжет жизнестроительства, воплощенный в судьбе главного героя. См.: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 101.

¹⁷ В частности, «Арабескам» Д. П. Ознобишина, повестям «Мулла-Нур» А. А. Бестужева-Марлинского и «Смерть Шанфария» О. И. Сенковского. См. также: Жуков К. А. Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб., 2006. С. 24–35.

¹⁸ Нужно указать на близость «Одиссея Полихрониадеса», писавшегося в 1873–1878 годах, к «Подростку» (1875) Достоевского в том, как происходит познание героем мира и себя в нем, как

Леонтьев в письме к матери от 19 ноября 1870 года назвал «ясно и просто представить здешний быт, здешние убеждения и страсти» (11-1, 287). Такова была задача и других произведений цикла.¹⁹ Пейзажный и бытовой фон действия часто приобретает черты эклоги, но не под влиянием книжной традиции, а потому, что таков Крит. «Посмотрите, — говорит доктор Вафиди в «Сфакиоте», — как хорошо у нас, как весело в селах... У вас, в Галате, в Халёппе, в Скаларие, в Анерокуру, в Серсенилии... Это рай...» (3, 570). И сам автор в рассказе «Хамид и Маноли» (1869) замечает: «...и страдания, и радость в этом прекрасном краю казались мне лучше тех страданий и радостей, которыми живут люди среди зловонной роскоши европейских столиц» (3, 171). Свой оттенок привносит в этот фон «суровая Сулия», где «еще не вымер эпический быт», где действуют «эпические герои» в «великолепных народных одеждах» (3, 328, 330).

Вместе с тем под узорным восточным покрывалом таилась влекущая Леонтьева область, где он мог интимно и художественно исповедовать культ красоты, предаваться стихиям «страстно-демоническим» и быть, по его позднему самообличению, «эстетиком-пантеистом, весьма вдобавок развращенным, сладострастным донельзя, до утонченности», с «истинно сатанинской» фантазией (6-1, 783). Понятно, почему к нему питали неприязнь приверженцы умственного и нравственного порядка, каковы Н. Н. Страхов, С. А. Рачинский. «Оба они возмущались, — объяснял В. В. Розанов, — смесью эстетизма и христианства, монашества и „кудрей Алкивиада“ и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жесткости в идеях Л<еонтьев>ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже».²⁰

«Кто хочет узнать подлинного Леонтьева, должен пережить чары и отраву его беллетристики»,²¹ — считал С. Н. Булгаков. Она действительно завораживает; но если взглядеться пристальнее в играющую красками и солнечными бликами поверхность его спокойно текущего рассказа, то можно увидеть не только отражение неба, но и темную глубину омута, заметную уже и в «Подлипках», хотя еще не бездонную там.

Ранние волнения сердца, жаркие и недолгие увлечения, острые приступы чувственности — все предвещало сильные и своевольные страсти. Но просто предаться им — этого будет мало Ладневу, с его рефлексией, с его эстетической ненасытностью. Он будет требовать от любви все более тонких оттенков красоты, едва уловимых чувственных изгибов, искусно скрытых в складках жизненной прозы, — и тем сильнее влекущих. Он уже ищет этого в отношениях с Катюшей и с Пашей. Он уже знает особую рода наслаждение, когда смешиваются в душе и играют сердцем и воображением хищная жажда обладать возлюбленной и вместе кроткая жалость к ней. В переселенном на Восток Ладневе открывается и еще одна способность его эротической природы: медленно, по капле упиваться предощущением любви, которой еще нет и, вероятнее всего, не будет как торжества взаимной близости, но которая наполняет его существование, продляя нескончаемую череду любовных ожиданий, душевных соприкосновений, разочарований.

Леонтьев настоящий язычник, когда устами молодого героя признается в романе «Одиссей Полихрониадес»: «...те соблазнительные и прекрасные демоны, которым воздвигали столь изящные храмы наши блистательные предки, эти коварные бесы бессмертны; они незримо живут и в наших собственных слабых сердцах» (4, 239) —

возникают и изменяются его чувства и руководящие его поведением идеи — при разнице в жизненных целях героев. Оба романа (и в значительной мере «Подлипки») принадлежат к жанру Bildungsroman, образцы которого были хорошо знакомы Леонтьеву: «Wilhelm Meisters Lehrjahre» Гете (1795–1796), «The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery» Диккенса (1849), «L'Éducation sentimentale» Флобера (1869).

¹⁹ Б. А. Грифцов заметил, что в этом цикле повествование, «полное любви к подробностям жизни, уверенности в силе традиции и быта, этот очень редкий тип литературы, не есть ли норма здоровой литературы вообще?» (Грифцов Б. А. Судьба К. Н. Леонтьева // Русская мысль. 1913. № 1. С. 98 (2-я pag.)).

²⁰ Русский вестник. 1903. № 5. С. 160.

²¹ Булгаков С. Тихие думы. М., 1918. С. 117.

это верование не только Одиссея, но и самого Леонтьева. А когда к любовному напитку примешивается восточный аромат «душистой и горькой <...> травы» (4, 422), жгучая, пьянящая струя гаремного сладострастия — тогда герой Леонтьева, глядя на Зельху, забывает обо всем: «Цветок соблазна и греха! Мной внезапно овладел тот самый младший, тот нежный и маленький демон, самый быстрый и крылатый из всех демонов упоительного зла, которого меня так долго учили бояться» (4, 423). Разумеется, из опыта самого автора проистекает суждение доктора в конце «Аспазии Ламприди»: «...турчанки милее, в них больше грации и жизни <...> турчанка умеет быть иногда гурией» (3, 377).

Ладнев в «Египетском голубе» (1881–1882) — несомненно, тот самый Ладнев, что жил в Подлипках и, покинув их, вспоминает по дороге в Адрианополь: «...ни разу после того я не видал ни этого сада, ни этого имения, ни сажалки этой, ни цветущего куста; но я не забыл его и не могу забыть...» (5, 250). Но теперь прежние его свойства получили полное и изощренное развитие. В Маше Антониади он ищет и находит то, чего вожделела его натура: «...в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое...» (5, 243). Под томное воркование египетского голубя ее полуулыбка кротости и растления вызывает у Ладнева и телесное, и утонченно душевное влечение, оба влечения и ограничивают, и усиливают друг друга, с чем связана тягуче-сладострастная любовная интрига романа, так и не получающая и не могущая получить развязки.

Не переступая нравственную черту, Ладнев остается верен леонтьевской натуре: ему «хотелось изящных наслаждений», его «сильно и почти ежеминутно томили жажда новых впечатлений и какое-то боготворение полуплотской, полуйдеальной любви» (5, 243).²² Ладневский культ «полуплотской, полуйдеальной любви» исключил присутствие в романе любви плотской — на нее не указывают ни слова, ни умолчания, — не потому, что откровенные ее изображения или намеки на нее были табуированы в литературе, а потому, что Ладнев, как он пишется здесь, не может не только говорить о телесном обладании, но даже представлять его, с его физиологическими пароксизмами, для него это грубо, *неизящно, неэстетично*, неописуемо.²³

В художественных опытах проникновения в плоть и душу Востока Леонтьев обнаружил способность к кровосмешению чужеродных культур, не ощущая в себе никаких к тому препятствий. «Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было в литературе»,²⁴ — замечал удивленный Розанов по поводу повестей из восточной жизни. В широком миросозерцании Леонтьева не оказалось препятствий и к тому, чтобы вслед за чувственным и поэтическим влечением к Востоку развился и настоящий «вкус к исламу»,²⁵ настолько явственный одно время в его миросозерцании, что это позволило говорить о «византийско-мусульманском православии»²⁶ Леонтьева.

Восток возбудил в нем энергию историософской и геополитической мысли; персоналогически связанные ее мотивы Леонтьев в избытке вводит в большую эпiku, что было новым делом в русской беллетристике и вызывало недоумение некоторых критиков и читателей. В «Аспазии Ламприди» завязываются крупные узлы этнополитической проблематики, она усложняется и заостряется в «Одиссее Полихрониадесе». Судьбы России в ее отношении к Западу и Востоку, дело Русской православной церкви

²² Отношение Ладнева к Маше по целям и ожиданиям не может быть уподоблено либертистской игре с женщиной (как и отношение к женщине Леонтьева, при всей его склонности к дендизму); такую игру вели Печорин, Йоханнес (у С. Кьеркегора). См.: Котельников В. А. Сюжет с княжной Мери и традиция литературного либертинизма // Русская литература. 2014. № 3. С. 28–41.

²³ Но есть черта, сближающая с Ладневым персонажа Кьеркегора: «Просто обладание, — утверждает Йоханнес с эстетическим презрением утонченного либертена, — по-моему, ничто, да и средства, ведущие к нему, довольно низменного сорта» (Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994. С. 85).

²⁴ Розанов В. Неузнанный феномен // Памяти К. Н. Леонтьева: Литературный сборник. Пб., 1911. С. 178.

²⁵ Булгаков С. Тихие думы. С. 127.

²⁶ Там же. С. 128.

как наследницы Церкви византийской, участь славянских народов, Греции — вот что занимает Леонтьева с первых лет пребывания на Востоке, что заставляет впоследствии взяться за публицистическое перо и не оставлять его уже до конца дней. Плодами его восточных наблюдений и размышлений стали статьи о панславизме, «Письма отшельника», «Византизм и славянство», «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», «Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву (о национализме политическом и культурном)», позднейшие статьи о славянофильстве, о внутреннем состоянии России. Эти выступления и определили его значение среди мыслителей и литераторов последней трети века.

На «восточном» этапе совершался уход от «гоголевско-тургеневской» школы, чей реализм казался ему идейно узким и стилистически тяжеловесным, и движение «к тому идеалу, которого жаждал» и к которому приблизился в «восточных повестях», о чем Леонтьев писал Вс. С. Соловьеву 18 июня 1879 года: «Там все характеры *нарочно* намечены чуть-чуть, слегка, как в старинных повестях, особенно французских, которых манера и мизосозерцание мне нравятся больше, чем слишком горельефный, раскрашенный густо и вместе с тем забрызганный грязью — прием почти всех наших писателей. <...> У *всех* характеры живы и типы очень верны и ясны. — Мне это еще в 60-х годах опротивело; — опротивел даже сам Тургенев с своими „живыми людьми“... Я стал искать теней, призраков и чувств. — Я желал, чтоб повести мои были похожи на лучшие стихи Фета, на полевые цветы, собранные искусной рукой в изящно-бледный и скромно-пестрый букет, на кружева „настоящие“ на „point-carré“, на фарфоровые белые сосуды с бледным и благородным рисунком... Я *возмечтал* быть примером, учителем, я хотел (вообразите!) открыть другим глаза... Я вознесся в своем уединении до того, что мнил положить конец — *Гоголевскому влиянию*, которое я признаю *во всех*, исключая, пожалуй, Толстого, который по крайней мере давно уже борется против гоголевщины — отрицанья, комизма и т. п. в самом *содержании* своем. <...> Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном самомнении, что я *призван* — обновить и *форму*... Напомнить *простые и краткие* приемы <...> Выбросить все эти *разговоры*, все эти *хихиканья* и т. п. ...» (11-2, 336).

Чего же хотел Леонтьев в отношении литературного текста? Он хотел словесную ткань отмыть, очистить от всяких реалистических аппликаций, изобразительных и повествовательных, сделать ее прозрачной для своей эстетической *идеи* — именно идеей дорожил он более всего в своем творчестве.

Потребность художественно широко и цельно выразить свое миропонимание всегда была очень сильна у него; Леонтьев продолжает думать о романе на русском материале, чему не мешали даже самые захватывающие «восточные» темы.

«Подлипки», «В своем краю» он не считал удачными вещами: во-первых, он находил в них следы того «мелочного реализма», который так претил ему в тогдашней прозе; во-вторых, недостаточными для его новых замыслов казались ему «домашние» персонажи его «усадебных» романов. Ему уже представлялась совсем другая фигура: личность с крупными умственными и нравственными чертами, национальная по характеру и «охранительная» по убеждениям, наделенная страстями, волей и вкусом. Такая личность, по Леонтьеву, должна бы стать прежде всего фактом русской жизни, практически действовать в государственном и культурном устройстве России — и в таком качестве получить художественное воплощение.

Возможно, что в воображении Леонтьева постепенно складывался ряд подобных героев, связанных между собой в эпической ретроспективе нескольких десятилетий. Во всяком случае, на этом основывался самый значительный его замысел — цикл романов «Река времен», работа над которым уже шла, по-видимому, в 1864–1865-м годах. Из того, что было осуществлено автором, до нас дошло немного. Судя по сохранившимся фрагментам, наброскам, по косвенным данным, Леонтьев предполагал рассказать о семействе Львовых — матери и трех ее сыновьях, — начавши повествование с эпохи 1812 года и кончая шестидесятью годами, а также намеревался ввести жизнеописания необходимых для общей картины персонажей: гусарского полковника, русского консула и других. В 1870–1880-е годы задумываются, частично пишутся (но

не завершаются) романы, не запланированные в цикле «Река времен», хотя явно ему родственные: «Две избранницы», «Святогорские отшельники», «Пророк в отчизне», «Против течения», «Подруги». Создававшийся в 1880-е годы роман «Египетский голубь» по материалу, действующим лицам, авторской манере можно считать связующе-переходным текстом между «восточной» прозой и вышеназванными произведениями.

Эта позднейшая часть творчества обнаруживает нарастающее противодействие писателя тем тенденциям в литературе, которые были порождены разрушением прежних социальных и культурных иерархий, понижением эстетических требований к жизни и к искусству — с чем Леонтьев никогда не мог смириться. Противодействие шло и по идеологической, и по тематической, и по стилевой линиям, достигая наибольшего напряжения в главном романном герое и делая его важнейшим аргументом в полемике с современностью. С тех же позиций — только более жестко — Леонтьев выступает в публицистике. Такое умонастроение и такая направленность творчества дают основания назвать периодом реакции заключительный период всей его деятельности.

DOI: 10.31860/0131-6095-2025-2-181-189

© А. Н. Розов

ДУХОВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА О ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ

С 1860-х годов, эпохи Великих реформ, значительные изменения произошли и в церковной жизни России. В частности, ряд преобразований затронул круг городского и сельского причта, что отразилось в духовной периодике.¹ Задача данной статьи — рассмотреть образы младших членов причта в художественной литературе и духовной журналистике.

16 апреля 1869 года было высочайше утверждено положение «О составе приходов и церковных причтов»,² согласно которому ликвидировалась дьяконская должность; теперь церковный клир каждой церкви состоял из священника (настоятеля) и причетника — псаломщика, ранее называвшегося дьячком.³ Чин/должность пономаря в Положении не упоминалась. В параграфе II.4 того же документа был сформулирован круг обязанностей псаломщика: «На обязанность псаломщиков, под наблюдением настоятеля и по его распоряжению, возлагается: а) исполнение при богослужениях клиросного чтения и пения; б) сопровождение настоятеля или его помощников при посещении прихожан для исправления духовных треб и в) все письмоводство по церкви и приходу».⁴

По определению Святейшего Синода от 16 (28) февраля 1885 года все причетники получили звание «псаломщик». К 1898 году «в Российской империи насчитывалось 2026 протоиереев, 42676 священников, 14361 дьякон и 43619 псаломщиков. Таким образом, псаломщики составляли примерно 42% от общего числа белого духовства».⁵ В 1906 году на заседании IV отдела Предсоборного присутствия был составлен ряд документов, в том числе и «Инструкция псаломщикам», состоящая из 32 параграфов.

¹ См.: Розов А. Н. 1) Заметки о церковной критике второй половины XIX — начала XX века (Образ священника в русской литературе) // Русская литература. 2001. № 4. С. 32–50; 2) Образ дьякона в русской литературе второй половины XIX — начала XX века в оценке церковной журналистики // Там же. 2023. № 2. С. 118–129.

² Полн. собр. законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1873. Т. 44. С. 321–325 (№ 46974).

³ В народе еще долгое время псаломщики назывались дьячками.

⁴ Там же. С. 322.

⁵ Леонов Д. Е. Псаломщик Русской Православной Церкви начала XX века: особенности правового статуса // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. История. 2015. № 1. С. 160.

Владимир Алексеевич Котельников

главный научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Vladimir Alekseevich Kotel'nikov

Chief Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom),
Russian Academy of Sciences

ORCID: 0000-0002-5135-678

irliran@mail.ru

**БЕЛЛЕТРИСТИКА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
В ЕЕ ТЕМАТИЧЕСКОМ И СТИЛЕВОМ ДВИЖЕНИИ**

**DYNAMICS OF THEME AND STYLE
IN THE FICTION OF K. N. LEONTIEV**

В статье рассматривается беллетристическое творчество К. Н. Леонтьева в 1850–1880-е годы. Показано, что писатель постепенно отходил от установок «натуральной школы», от тематических и стилевых тенденций критического реализма, которые определяли литературу эпохи. Леонтьев разрабатывал жанр ретробиографического романа, развивал в художественной прозе новые этические и эстетические идеи. Он впервые в русской беллетристике подробно разработал «восточную» тему на материале жизни в европейских областях Турции, где провел несколько лет на дипломатической службе.

Ключевые слова: творчество К. Н. Леонтьева, русская литература, роман, «восточная» тема.

The article examines the works of fiction by K. N. Leontiev, produced in the 1850s and 1880s. It shows that the writer was gradually distancing himself from the attitudes of the Natural School and the thematic and stylistic trends of Critical Realism that shaped the literature of the day. Leontiev was cultivating the genre of retrobiographical novel, introducing new ethical and aesthetic ideas into his fiction. He was the pioneer of detailed treatment of the «Oriental» theme in the Russian belles-lettres, describing the life in the European regions of Turkey, where he had spent several years in the diplomatic service.

Key words: K. N. Leontiev's creative work, Russian literature, novel, «Oriental» theme.

Список литературы

1. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 16.
2. Жуков К. А. Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб., 2006.
3. Иванов Вяч. Вс. Избр. труды по семиотике и истории культуры: В 3 т. М., 2000. Т. 2. Статьи о русской литературе.
4. Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994.
5. Киркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994.
6. Котельников В. А. Сюжет с княжной Мери и традиция литературного либертинизма // Русская литература. 2014. № 3.
7. Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Гл. ред. В. А. Котельников; подг. текста, комм. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб., 2000–2022. Т. 1–5; Т. 6. Кн. 1, 2; Т. 8. Кн. 1; Т. 9; Т. 11. Кн. 1, 2; Т. 12. Кн. 2.
8. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1937. Т. 6.
9. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1966. Т. 5.
10. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 2, 4.
11. Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.
12. Manfredi P. Cultura, estetica e religiosità in Konstantin Leont'ev // Konstantin Leont'ev. I nostril nuovi Cristiani. Discorsi contro Dostoevskij e Tolstoj / A cura di A. Ferrari. Milano, 2003.
13. Proust M. A la recherche du temps perdu: Du côté de chez Swann: Combray. Paris, 1954. Т. I.

References

1. Fetisenko O. L. «Gepstastilisty»: Konstantin Leont'ev, ego sobesedniki i ucheniki. SPb., 2012.

2. *Gertsen A. I.* Sobr. soch.: V 30 t. M., 1959. T. 16.
3. *Ivanov Viach.* Vs. Izbr. trudy po semiotike i istorii kul'tury: V 3 t. M., 2000. T. 2. Stat'i o russkoi literature.
4. *Karleil' T.* Teper' i prezhde. M., 1994.
5. *Kirkegor S.* Naslazhdenie i dolg. Kiev, 1994.
6. *Kotel'nikov V. A.* Siuzhet s kniazhnoi Meri i traditsiia literaturnogo libertinizma // Russkaia literatura. 2014. № 3.
7. *Leont'ev K. N.* Poln. sobr. soch. i pisem: V 12 t. / Gl. red. V. A. Kotel'nikov; podg. teksta, komm. V. A. Kotel'nikova, O. L. Fetisenko. SPb., 2000–2022. T. 1–5; T. 6. Kn. 1, 2; T. 8. Kn. 1; T. 9; T. 11. Kn. 1, 2; T. 12. Kn. 2.
8. *Manfredi P.* Cultura, estetica e religiosità in Konstantin Leont'ev // Konstantin Leont'ev. I nostril nuovi Cristiani. Discorsi contro Dostoevskij e Tolstoj / A cura di A. Ferrari. Milano, 2003.
9. *Proust M.* A la recherche du temps perdu: Du côté de chez Swann: Combray. Paris, 1954. T. I.
10. *Pushkin A. S.* Poln. sobr. soch.: [V 16 t.]. M.; L., 1937. T. 6.
11. *Saltykov-Shchedrin M. E.* Sobr. soch.: V 20 t. M., 1966. T. 5.
12. *Turgenev I. S.* Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. Pis'ma: V 18 t. M., 1987. T. 2, 4.
13. *Zhukov K. A.* Vostochnyi vopros v istoriosofskoi kontseptsii K. N. Leont'eva. SPb., 2006.

Александр Николаевич Розов

ведущий научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Aleksandr Nikolaevich Rozov

Leading Researcher, Institute of Russian literature (Pushkinskij Dom),
Russian Academy of Sciences

ORCID: 0000-0003-1696-3111

rosov@list.ru

ДУХОВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА О ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ

RELIGIOUS JOURNALISM AND RUSSIAN LITERATURE ON CLERGY, 19TH — EARLY 20TH CENTURY

В статье рассмотрены произведения писателей второй половины XIX — начала XX века, в которых присутствуют разные типы младших членов причта, а также проанализирована оценка этих текстов в церковной критике. Образы дьячков, представленные в литературе, более разнообразны, чем образы священников и дьяконов. Особое место в этом ряду занимает исчезнувший к концу XIX столетия тип старого дьячка, близкий образу «маленького человека».

Ключевые слова: русская литература, причт, дьячки, духовная периодика, церковная критика.

The article examines the fictional works of the second half of the 19th and early 20th century that deal with the minor members of the clergy and analyzes the assessment of these texts in the church criticism. The fictional images of *dyachoks* (vergers) seem more diverse than those of the priests and the deacons. The image of an old verger, bearing strong similarity to that of the «little man» and disappearing by the end of the 19th century, holds a special place in these narratives.

Key words: Russian literature, clergy, *dyachok*, religious press, church criticism.

Список литературы

1. *Леонов Д. Е.* Псаломщик Русской Православной Церкви начала XX века: особенности правового статуса // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. История. 2015. № 1.
2. *Розов А. Н.* Заметки о церковной критике второй половины XIX — начала XX века (Образ священника в русской литературе) // Русская литература. 2001. № 4.
3. *Розов А. Н.* Образ дьякона в русской литературе второй половины XIX — начала XX века в оценке церковной журналистики // Русская литература. 2023. № 2.